

А.Л. Волынский

Борьба за идеализм. Критические статьи

Москва
«Книга по Требованию»

УДК 82-3
ББК 84
А11

А11 **А.Л. Волынский**
Борьба за идеализм. Критические статьи / А.Л. Волынский – М.: Книга по Требованию, 2021. – 550 с.

ISBN 978-5-518-06302-0

Критические статьи: Достоевский, Сенкевич, Ницше, Страхов, Золя, Кольцов, Репин, Ге, Толстой, Метерлинк, Оскар Уайльд, Герцен, Огарев, Тургенев, Гоголь, Короленко, Ясинский, Мамин-Сибиряк, Микулич, Соллогуб, Крестовская, Лухманова, Апухтин, Чехов, Горький, Сигма, Минский, Мережковский, Бальмонт, Гиппиус, Лохвицкая, А. Добролюбов, Брюсов, гр. Алексис Жасминов, Коринский, Величко, Гр. Голенищев-Кутузов, Дягилев, Влад. Соловьев, Кареев, Меньшиков, Боборыкин.

ISBN 978-5-518-06302-0

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2021
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2021

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

тажомъ, съ ея умственнымъ неряшествомъ и нравственной распушенностью, съ наигрываніемъ на заржавѣвшихъ струнахъ поверхностнаго либерализма въ ея «честныхъ» органахъ, кажется мнѣ явленіемъ, обреченнымъ на безславную гибель.

Книгу мою я назвалъ «Борьба за идеализмъ»: я, какъ умѣлъ, отстаивалъ въ моихъ статьяхъ мысль, что только идеализмъ — созерцаніе жизни въ идеяхъ духа, въ идеяхъ божества и религіи — можетъ дать объясненіе искусству, законамъ художественнаго творчества, и живой импульсъ ко всякому иному творчеству — практическому, нравственному. И искусство, и сама жизнь представляются мнѣ способными къ обновленію только на этомъ пути: просвѣтленіемъ сознанія идеями высшаго порядка, идеями, которыя почерпаются изъ экстазовъ души, «полныхъ разума и окончательной причины», какъ выражается Достоевскій. Чтобы выйти на новыя историческія дороги, люди должны посмотрѣть на свои человѣческія задачи и дѣла, какъ на богочеловѣческія — тогда существованіе ихъ пріобрѣтетъ истинно важный, идейный смыслъ. И среди ихъ дѣлъ искусство будетъ однимъ изъ самыхъ трудныхъ, но и самыхъ священныхъ и освободительныхъ дѣлъ.

А. Волынский.

Спб. 10 января 1900 г

СТАТЬИ, ОЧЕРКИ.

О Достоевскомъ.

(Въ купѣ).

Поездъ шелъ полнымъ ходомъ, среди горъ Баваріи, между станціями Розенгеймъ и Куфштейнъ. Душный іюньскій день склонялся къ вечеру. Въ купѣ второго класса на открытыхъ окнахъ вздувались и колыхались шторы. Въ одномъ углу сидѣлъ молодой человѣкъ. Онъ оживленно посматривалъ въ окно съ восхищеніемъ чужестранца, любующагося удивительнымъ пейзажемъ, и время отъ времени бросалъ нетерпѣливый взглядъ на своего сосѣда, какъ бы желая вызвать его на разговоръ. Но сосѣдъ былъ погруженъ въ чтеніе и не обращалъ на него вниманія. Книга увлекла его, и на его выразительномъ лицѣ отражалась быстрая смѣна пріятныхъ и досадливыхъ ощущеній. Наконецъ, онъ загнулъ страницу, на минуту остановился и сталъ нервно перелистывать почти дочитанную книгу. Молодой человѣкъ съ блѣднымъ лицомъ замѣтилъ названіе книги и взволновался.

— Извините,—сказалъ онъ.—Я вижу, что вы читаете Достоевскаго. Я русскій, и мнѣ это очень интересно.

— Да, интересно, въ высшей степени,—отозвался сосѣдъ. Интересно въ особенности для насъ, нѣмцевъ, въ настоящій моментъ...

Русскій прервалъ его:

— Да, да, Достоевскій—величайшій писатель для современныхъ поколѣній. Не Толстой, а Достоевскій. Толстой—равнина, широкая равнина, какъ Ясная Поляна. Достоевскій — гористая душа, вотъ такая же, какъ эта природа—высокая и глубокая.

Онъ рѣшительнымъ движеніемъ руки указалъ на пейзажъ.

— Совершенно вѣрно,—проговорилъ нѣмецъ съ легкой усмѣшкой.—Высокая и глубокая! Эта книга поразила меня. Но вотъ что замѣчательно: паденія Достоевскаго значительнѣе, чѣмъ его подъемы.—Онъ ударилъ по книгѣ и продолжалъ съ легкимъ возбужденіемъ:—Видите—вотъ страница, которую я загнулъ. Съ нея романъ идетъ подъ гору. Какъ вамъ понравится этотъ Раскольниковъ, который кается, бросается на колѣни передъ людьми, отдастъ себя въ руки полиціи? Вотъ паденіе Достоевскаго! Онъ гениально раскрылъ картину освобождающейся личности, признавъ за нею право на преступленіе, но дальше онъ не пошелъ. Въ немъ не хватило силъ довершить психологію великаго человѣка, и онъ кинулся на колѣни передъ традиціонной моралью и устарѣвшими преданіями. Какъ это ни странно сказать, Достоевскій ударился въ банальность.

Русскій уже давно хотѣлъ перебить своего собесѣдника, который говорилъ методически и плавно. Онъ не выдержалъ и такъ стремительно повернулся на мѣстѣ, что изъ его бокового кармана выпала небольшая книга—«Исповѣдь блаженнаго Августина»—въ старинномъ французскомъ переводѣ. Онъ не замѣтилъ этого и заговорилъ быстро, съ ѣдкой насмѣшкой въ голосъ:

— Будьте безпощадны, идите до конца. Вы коснулись банальности не одного только Достоевскаго. Это банальность всего русскаго народа, всей Россіи,—не той полуинтеллигентной Россіи, которая шумитъ газетными статьями, но той Россіи, которая хранитъ глубокое молчаніе. Да, мнѣ кажется, вы коснулись больного нерва всего человѣчества, потому что эта банальность неискоренима изъ человѣческаго сердца.

Нѣмецъ снялъ очки, протеръ стекла и медленно отвѣтилъ:

— Я не знаю, съ какой точки зрѣнія вы говорите все это. Такіе споры обыкновенно бесплодны...

Русскій разсмѣялся.

— О!—воскликнулъ онъ, — мнѣ совершенно все равно, какая эта точка зрѣнія. Станемъ на ту точку зрѣнія, какая вамъ угодна. Будемъ говорить хотя-бы съ точки зрѣнія человѣка, который проповѣдуетъ зло и отрицаетъ состраданіе. Это самая современная точка зрѣнія,—не правда-ли? Но, спрашивается, къ кому такой человѣкъ обращается со своей проповѣдью? Къ современной душѣ, которая стала чувствительною до безмѣрности и уже пошла по иному пути. Согласитесь, что въ этомъ противорѣчіи между новымъ ученіемъ и новой душою есть что-то комическое.

— Это противорѣчіе существовало всегда,—перебилъ нѣмецъ.— Но чѣмъ глубже это противорѣчіе, тѣмъ полезнѣе напоминать людямъ, что нужно немножко ожесточиться. Нѣкоторыя теоріи дѣйствуютъ, какъ лѣкарство.

Русскій всталъ и снова опустился съ просвѣтлѣвшимъ лицомъ.

— Итакъ, вы думаете,—сказалъ онъ,—что мы сидимъ въ полѣзѣ, обреченномъ на крушеніе! Вѣдь ясно, что никакое лѣкарство не побѣдитъ культурнаго разложенія: чувствительность и нѣжность глубоко укореняются въ душѣ современнаго человѣка. Но, можетъ быть, вы говорите, какъ представитель уже не очень молодого культурнаго народа? Что касается Россіи, то она не считаетъ свою чувствительность за болѣзнь. Мнѣ она кажется ея лучшимъ богатствомъ.

Нѣмецъ снисходительно посмотрѣлъ своему собесѣднику въ глаза.

— Однако, обратимся къ Достоевскому. По вашему, и предрасудки и мертвыя преданія—тоже богатство?

Въ голосѣ его прозвучала нескрываемая иронія.

— Я вижу, вы дѣйствительно безпощадны! — заговорилъ русскій.—Вы попрекаете Россію предрасудками и даже намекнули на суевѣрія, неизбѣжныя при отсутствіи настоящаго просвѣщенія. Конечно, Россія—послѣдняя среди культурныхъ странъ современнаго міра. Русскій человѣкъ ходитъ въ полущубкѣ на выставкѣ европейскаго образованія.. Извините меня, но позвольте сказать съ полною откровенностью: та страница, которую вы загнули въ романѣ Достоевскаго и которую вы считаете банальною, кажется мнѣ выраженіемъ самаго высокаго таланта и духовнаго проникновенія. Для васъ банально—каяться передъ людьми, открывать душу, а для меня это ничто иное, какъ психологическій экстазъ великаго поэта. Вы сказали: банальность. Но какая странная, какая обаятельная банальность! Выбросить изъ души то, что мучить и что отягчаетъ ее, собственными силами лѣчить себя, не прибѣгая ни къ какимъ искусственнымъ лѣкарствамъ, отбросить то, что мѣшаетъ идти дальше... Поймите: тотъ, кто собирается въ далекое путешествіе, не тащитъ съ собою грузнаго багажа и предпочитаетъ простую одежду легкой и свободной бѣдности. Не всякій пойметъ русскаго Раскольника.

Послѣднія фразы онъ произнесъ тихо, какъ-бы погружаясь въ себя, а глаза его блуждали по вершинамъ снѣжныхъ горъ.

Нѣмецъ бросилъ на окрестность бѣглый взглядъ, чтобы сообразить, далеко-ли до станціи Куфштейнъ. Стало темнѣть. Горы по

сторонамъ дороги сходились такъ близко, что казалось, будто поѣздъ врѣзывается въ какое-то непроѣздное ущелье,—но вдругъ онъ разступались, открывая широкія свободныя пространства. Извилистыя линіи горизонта трепетали, и гдѣ-то впереди вспыхивали и мерцали въ вечернемъ полумракѣ огни приближающагося города. Въ купѣ все еще было душно, но за окномъ вѣялъ прохладный вѣтерокъ, и вечерніе туманы медленно ползли по склонамъ горъ. Долгіи крикъ локомотива заставилъ нѣмца подняться. Онъ накинулъ плащъ, присѣлъ на диванъ, наклонился къ собесѣднику и сказалъ:

— Позвольте мнѣ на прощаніе сказать еще нѣсколько словъ. Мнѣ показалось, что вы, русскіе люди, любите считать себя здоровыми по сравненію съ нами, культурными людьми, впадшими въ декадентство. Вы любите считать себя наивными и даже готовы похвалиться этою наивною. Вы полагаете, что ходите на здоровыхъ ногахъ, а мы—на ходуляхъ... — Онъ остановился, нѣсколько измѣнилъ тонъ и вперилъ острый взглядъ въ глаза собесѣдника, который слушалъ его съ величайшимъ вниманіемъ: — Если-бъ это было такъ, культурный европейскій міръ долженъ былъ-бы уступить вамъ свое мѣсто, долженъ былъ-бы уступить дорогу молодому славянскому варварству. Но я думаю, что вы глубоко ошибаетесь. Молодые русскія ноги страдаютъ рахитизмомъ. Вы народъ рахитичный, и потому вамъ опасно пускаться въ длинныя путешествія. Вы народъ больной, слабый и культурно безсильный. Вашъ національный герой, Обломовъ, типъ соннаго лѣнтяя. Вы по природѣ антикультурны. Вашъ Пушкинъ кончилъ религіознымъ смиреніемъ, вашъ Гоголь закончилъ свою литературную дѣятельность суетными галлюцинаціями, вашъ Достоевскій портилъ свои лучшія художественныя произведенія эпилептическими припадками въ духѣ русскаго юродства, вашъ Толстой, величайшій эническій талантъ, потерялъ вкусъ къ жизни, къ искусству... Въ области ума этотъ рахитизмъ имѣетъ свое особое названіе: мистицизмъ—болѣзнь темныхъ чувствъ, ведущихъ борьбу съ яснымъ и свѣтлымъ сознаніемъ.

Русскій, съ помертвѣвшимъ лицомъ, отодвинулся въ уголъ дивана. Онъ совершенно притихъ, вслушиваясь, вдумываясь. Казалось, онъ медленно приподнималъ въ душѣ что-то большое, тяжелое, неподвижно лежавшее тамъ до сихъ поръ. Онъ началъ спокойно:

— Вы говорите—Толстой потерялъ вкусъ къ жизни. Есть два вкуса въ человѣческой душѣ: вкусъ къ конкретной жизни и вкусъ къ тайнѣ, которая облекаетъ жизнь. На вершинахъ культуры и

образованности люди заглушаютъ въ себѣ одинъ вкусъ ради другого. Когда сознаніе освѣщаетъ видимыя вещи, придаетъ имъ вполне опредѣленную форму и цвѣтъ, — пропадаетъ инстинктъ къ тому, что недоступно воспріятію, не имѣетъ формы, но вѣчно пребываетъ въ темной глубинѣ души. Знаете-ли, что сдѣлала для культурнаго человѣчества Россія? Она лепетала о томъ, для чего нѣтъ никакихъ опредѣленныхъ словъ. Вы изволили сказать, что Достоевскій типиченъ, какъ *современный* человѣкъ. Однако, если справедливы ваши теоріи, Достоевскій долженъ быть сданъ въ архивъ. Но Достоевскій, дѣйствительно, типиченъ, потому что въ немъ живы оба вкуса—въ его душѣ боролись всѣ противорѣчія: Богъ и міръ. Достоевскій типиченъ потому, что онъ скорѣе принялъ-бы какое угодно страданіе, чѣмъ отказаться отъ самого себя или ограничивать свою душу въ томъ или другомъ направленіи. О Пушкинѣ, Гоголѣ, Толстомъ, въ особенности о Пушкинѣ, этомъ полубогѣ русской литературы, я могъ-бы сказать вамъ очень многое, но я вижу—у васъ уже нѣтъ времени выслушивать мои разсужденія, и я протягиваю вамъ мою руку на прощанье

Нѣмецъ схватилъ протянутую руку и крѣпко пожалъ ее. Ему сдѣлалось вдругъ невыразимо больно покинуть этого страннаго человѣка, который показался ему сначала комичнымъ. Онъ что-то пробормоталъ въ знакъ сочувствія и удовольствія и выразилъ пожеланіе когда-нибудь съ нимъ встрѣтиться. Поездъ остановился. Онъ направился къ двери купэ, которую шумно распахнулъ кондукторъ, и смѣшался съ толпою на ярко-освѣщенной платформѣ.

Русскій остался неподвижно на мѣстѣ. Поездъ уносилъ его дальше и дальше въ темноту ночи. Онъ ѣхалъ въ Вѣну, чтобы оттуда проѣхать въ малокультурную, безправную провинцію, черезъ Кіевъ, гдѣ онъ хотѣлъ видѣть борьбу византійскихъ и простонародныхъ началъ въ церковной живописи талантливыхъ русскихъ художниковъ.

1897. Октябрь.

Раскольниковъ.

Я сидѣлъ въ ресторанѣ Палкина за ужиномъ. Недалеко отъ меня вели бесѣду два незнакомыхъ человѣка за столикомъ, который былъ уставленъ опорожненными бутылками. Ужинъ ихъ былъ конченъ, и клубы бѣлесоватаго сигарнаго дыма расплывались надъ собесѣдниками. Одинъ изъ нихъ былъ человѣкъ средняго возраста, бѣлокурый съ просѣдью, съ густою круглою бородою и усами, пожелтѣвшими отъ куренья. Глаза его разсѣяннo бѣгали по сторонамъ, иногда онъ нервно подергивался на стулѣ и, возражая своему собесѣднику, пригибался грудью къ столу. Другой былъ молодой человѣкъ, лѣтъ тридцати, въ аккуратномъ черномъ сюртукѣ, нѣсколько на распашку, съ рассыпающимися темными волосами, которые онъ часто закидывалъ рукою назадъ. Давая реплику, онъ какъ-то любезно улыбался и съ легкимъ привычнымъ самолюбованіемъ подчеркивалъ отдѣльныя слова. Онъ прибѣгалъ къ иностраннымъ терминамъ, которые произносилъ съ едва уловимымъ наивнымъ удовольствіемъ. Я подумалъ, что, вѣроятно, это былъ какой-нибудь начинающій приватъ-доцентъ петербургскаго университета. Когда затихъ долго гудѣвшій органъ, я услышалъ упоминаніе о маленькомъ очеркѣ «Въ купѣ», напечатанномъ мною въ послѣдней книгѣ «Сѣвернаго Вѣстника». Я естественно насторожился.

— Мнѣ кажется, что и нѣмецъ, и русскій ошиблись, фактически ошиблись,—говорилъ молодой человѣкъ.—Раскольниковъ совсѣмъ не покался. Онъ просто былъ выбитъ изъ колеи и все, что онъ дѣлаетъ подъ конецъ романа, до эпилога, не больше, какъ жертва собственными идеями окружающей его, довольно-таки пошлой средѣ. Онъ оправдалъ свои убѣжденія яркимъ поступкомъ,

и затѣмъ — онъ падаетъ, какъ человѣкъ, не имѣющій нервныхъ силъ остаться ратоборцемъ. Въ мысляхъ онъ себѣ не измѣняетъ.

Онъ затянулся дымомъ, бросилъ бѣглый взглядъ на сосѣдніе столики и затѣмъ продолжалъ, нѣсколько повысивъ голосъ:

— Я могу говорить объ этомъ предметѣ, какъ на экзаменѣ. Я нарочно просмотрѣлъ всѣ сцены романа, относящіяся къ такъ называемому покаянію Раскольниковъ. И вотъ, повторяю вамъ: авторъ очерка глубоко ошибся. Раскольниковъ до конца твердъ въ своихъ убѣжденіяхъ. За минуту передъ покаяніемъ онъ говоритъ Сонѣ: «Я сейчасъ иду предавать себя. Но я не знаю, для чего я иду предавать себя». Вы видите, онъ не знаетъ, для чего ему предавать себя полиціи. То-ли это настроеніе, въ какомъ человѣкъ можетъ искренно покаяться? Теперь, смотрите дальше. Соня говоритъ Раскольникову, что покаяніемъ онъ смоесть половину своего преступленія. И вотъ Раскольниковъ, почти взбѣсившись отъ этого слова, восклицаетъ: «Преступленіе? Какое преступленіе? То, что я убилъ гадкую, зловредную вошь, старушонку-процентщицу, никому не нужную, которую убить—сорокъ грѣховъ простить, которая изъ бѣдныхъ сокъ высасывала, и это преступленіе?» Какъ вы это поймете? Онъ убилъ—по своему неизмѣнному убѣжденію—какую-то вошь, которую надо убить. Онъ заступился за бѣдняковъ противъ вампира, противъ соціальнаго эксплуататора. Я такъ понимаю Раскольниковъ и думаю, что иначе его понять нельзя. Это—протестантъ, непреклонный, хотя и падающій отъ натиска грубыхъ факторовъ общественнаго регресса. И онъ самъ на этотъ счетъ не обманывается. Онъ говоритъ о своемъ злосчастномъ покаяніи, какъ о малодушіи, какъ о поступкѣ, который можно объяснить только его бездарностью. Вотъ, что я думаю объ этомъ предметѣ, Василій Михайловичъ.

Василій Михайловичъ довольно долго посматривалъ на молодого говоруна, съ дукавымъ выраженіемъ въ прищуренныхъ глазахъ. Онъ, повидимому, не торопился со своимъ возраженіемъ и ждалъ, пока собесѣдникъ не выскажется до конца. Теперь настала его очередь.

— Такъ, по вашему, Раскольниковъ — это типъ протестанта, изъ новыхъ въ свое время теченій и, говоря вашими словами, убѣжденный ратоборецъ общественнаго прогресса? Вотъ какъ вы его понимаете. Достоевскій представилъ либеральнаго героя, который отъ начала до конца находится въ разладѣ съ косою толпою? Ничего другого вы не отыскиали въ романѣ относительно Расколни-

кова. Извините-сь, я съ вами не согласенъ. Раскольниковъ—человѣкъ, который мечталъ сдѣлаться Наполеономъ, хотя, конечно, не могъ имъ сдѣлаться. Вы забыли статью Раскольникова о томъ, что великимъ людямъ все позволено. Вы не замѣтили одного очень важнаго слова: Раскольниковъ хотѣлъ *осмѣлиться, озлиться*. Чувствуете вы, какія тутъ открываются глубины? Онъ искалъ въ себѣ гордости, права на власть, былъ нетерпѣливъ—вотъ какія въ немъ черточки. Онъ героемъ хотѣлъ сдѣлаться,—понимаете, не подвижникомъ-протестантомъ, а героемъ, въ самоновѣйшемъ смыслѣ этого слова. Тутъ, за много лѣтъ, теоріями Ницше вѣетъ, а не тургеневскою Новью. Достоевскій, какъ никто другой, опередилъ свою эпоху и далъ образчикъ чистѣйшаго русскаго демонизма, который онъ измѣрилъ до глубины.

— Ну, все равно,—перебилъ молодой человѣкъ. — Пусть Раскольниковъ хоть демонистъ, объ этомъ не будемъ спорить. Все-таки, я правъ, говоря, что Раскольниковъ вовсе и не покался. Согласитесь, вѣдь не важно для такой натуры, пошелъ онъ или не пошелъ признаваться въ полицію. Главное—это то, что онъ думаетъ, говоритъ: «я не знаю, для чего я иду предавать себя»

— Извините-сь, для меня въ этихъ словахъ Раскольникова заключается великій смыслъ. Онъ не знаетъ, зачѣмъ идетъ предавать себя—да, да! Онъ *самъ* не знаетъ. Онъ, какъ невольникъ, идетъ на свое покаяніе. Но въ какомъ смыслѣ невольникъ? Подумать только, какъ глубоко проникъ въ душу человѣческую Достоевскій. Человѣкъ съ яркими убѣжденіями, почти фанатикъ, молодой писатель съ талантомъ, Раскольниковъ кончаетъ одну полосу своей жизни поступкомъ, котораго самъ не можетъ понять. Онъ не властенъ надъ собою. Сознаніемъ онъ презираетъ свое малодушіе, свою бездарность, какъ онъ выражается,—а что-то болѣе сильное, чѣмъ сознаніе, необходимо толкаетъ его къ самообличенію и страданію. Онъ убилъ вошь никуда негодную, и все-таки онъ долженъ искупить страданіемъ какую-то великую ошибку. Ему никогда не сдѣлаться Наполеономъ—не потому, чтобы Наполеонъ былъ слишкомъ великъ, а онъ слишкомъ малъ — правду сказать, все-то солдатское величіе Наполеона мнѣ кажется грошовымъ,—а потому, что въ душѣ Раскольникова жила добрая божественная стихія, которая борется противъ всякой злости, противъ убійства. Величіе Наполеона пройдетъ, какъ дымъ, потому что можно было-бы доказать, что этотъ корсиканецъ не проявилъ въ своей дѣятельности высшаго экстаза, что мечты его были суетой. А Раскольниковъ ве-